

По вечерам учительница любила уходить одна к морю. Детей в русской усадьбе укладывали спать рано. Младший мальчик, морщась, пил свое молоко и каждый раз упрашивал учительницу:

— Пожалуйста, Лидия Павловна, один глоточек.

— Пей сам.

— За мое здоровье!..

Так он, хитрец, по крайней мере глотков шесть спаивал ей: за свое здоровье, за здоровье старшего брата Миши, за здоровье бабушки в Лондоне и составителя хрестоматии — Острогорского... За здоровье больной индюшки, которая с утра до вечера чихала под балконом в своей конурке. И нельзя было обидеть ни бабушку, ни индюшку, ни Острогорского.

Старший Миша пил молоко без фокусов. Длинный и желтоволосый, вытягивался он, как репка, в постели, перебирал тихо на одеяле английские детские журналы со смешными пингвинами и зайцами и тихо спрашивал:

— Опять к морю?

— Да, дружок.

— Мыслить?

Лидия Павловна, улыбаясь, кивала головой.

— Каждый вечер?

Он удивленно пожимал плечами. А впрочем, разве у него нет своих секретов, разве не «мыслит» он сам, вытянувшись в постели и притворно закрыв глаза, чтобы взрослые не приставали: «Не спишь, Миша? Спи! Надо спать...»

Лидия Павловна вставала, пожимала мизинцем левой руки левый мизинец Миши, так они всегда прощались, и уходила к морю.

\* \* \*

В эту пустынную ночь полная, налитая сиянием луна, словно ночное ртутное солнце, заливала тихий залив. В Париже даже не знаешь: луна ли сегодня в небе, либо световая реклама — крем для ботинок «Диана» — маячит вдали над улицей. Кто там в Париже поднимает голову к небу? Коты на крышах, пять-шесть чудаков-астрономов да пьяный прохожий на окраине,

беспомощно обнимающий уличный фонарь... Остальным ни до луны, ни до неба. И запрятаны они — облака, Млечный Путь, звезды и месяц — где-то там над домами так искусно, что только по календарю знаешь, полнолуние ли сегодня вверху, либо глухая, синяя тьма...

Но здесь у залива... Лидия Павловна сидела на пальмовой, выброшенной морем колоде, поглаживала рукой шершавую, забитую солью кору и смотрела. Отдыхала глубоко, до самого дна души, как много лет уже не отдыхала. Она долго вспоминала, перебирая в памяти год за годом, потерю за потерей, когда она была в последний раз так бездумно и просто счастлива? Пожалуй, перед самой войной, на одной из дальних линий Васильевского острова, у прохладного ночного окна, когда вот так же разливался над сонными крышами лунный разлив, а в голове кувыркалась и высывалась язык смешная, школьная радость: «К черту, к черту, к черту! Последний государственный экзамен сдан!..»

Кто знает, быть может, счастье и есть глубокий отдых, больше ничего. Выпрямленные плечи, свободно задумавшиеся, Бог весть о чем, глаза, лунное трепетание на руках.

И еще радовало Лидию Павловну, радовало и смущало, что здесь впервые с нее слетела этикетка — «эмигрантка». В городе опять сама собой приклеится. Пусть. Но здесь... Чье небо? Чья луна? Чей ветер? Чьи волны, шипящие у ног? Французские или русские? Ничьи — значит, и ее. И в этот час, когда в глубине долины, у подножий холмов вдоль всего побережья каменным сном спали в каменных сараях под широкими пальмами и смоковницами местные фермеры, старухи, мулы и куры, не одна ли она бодрствовала, не ей ли одной сияла лунная дорога... Чья лунная дорога — русская, французская? Ничья.

Учительница встала и обернулась. За спиной вздыхала и приветливо, словно для рукопожатия, протягивала лапу усадебная шершавая дворняга. Собака улыбалась, ей-Богу, улыбалась седой посторонней русской женщине широкой песьей улыбкой и совершенно явно своей несложной мимикой старалась объяснить:

— Я полежу возле вас. Можно? Вы мне симпатичны. Здесь у воды прохладно, а в усадьбе слишком много блох. И у вас такие душистые, теплые руки... Можно?

Лидия Павловна дружески потрепала шелковое отвислое ухо и улыбнулась.

Вот, стало быть, не одной ей не спится в эту ночь. Еще один лунный

мечтатель объявился — с хвостом.

Наклонившись к черневшему у ног обгоревшему, устью старого костра, русская учительница сгребла палкой в кучу хворост, полузасыпанные песком сосновые сучья, кору и шишки, кусок просмоленного лодочного киля... Длинными сосновыми иглами пересыпала колючий бугор и достала из сумочки спички.

Собака встала, отряхнула с шубы песок и внимательно повернула голову. Сейчас вспыхнет желтоватая метелка — огонь. Заклубится сизая дымная борода. Полетят, стреляя и фыркая, искры. Приезжая женщина сядет у костра и обхватит колени руками... Может, будет, прислонившись к ней головой, смотреть на огонь, сладко зевать и нюхать смолистое, переливающееся тепло.

\* \* \*

Не одну собаку притянул костер и уютный оранжевый круг вокруг трещавшего огня. От темных камней у воды, где полукругом белели в лунной известке лодочные сараи, отделилась долговязая фигура, длинноногая астролябия в берете.

Собака не тронулась с места. Знает: это гость-француз, приезжий садовник. Живет на соседней ферме. К собакам равнодушен, как, впрочем, и собаки к нему. Длинный, словно складная лестница, которую осенью под персиковые деревья подставляют. Все носится у самого края воды от мыса до виллы на горе. Где ни увидит человека на песке, плюхнется рядом и начинает, тыча рукой в воздух, лопотать, как рубашка на ветру... За пазухой всегда опавшие фиги, которые он по всем дорогам подбирает. Вынет, понюхает и ест. И в волосах колючки, потому что спит на прессованном сене в сарае.

Собака не ошиблась. Двадцатилетний жираф-садовник опустил против учительницы на песок, дружески кивнул ей и стал вилообразными руками подгребать в огонь хворост.

Желтая метелка, треща и дымя, рванулась кверху. И еще светлее и прозрачнее стал лунный полукруг воды и пляжа, чернее и строже стена прибрежных гигантских сосен. Собака недовольно отодвинулась: и так жарко, зачем же еще подбрасывать?

А привлеченный огнем чудак вытянулся на песке, почти сунув пасть в самый костер, и, продолжая позавчерашний разговор, замахал перед носом своей словно вывихнутой лапой.

— Видите, окно над сараем освещено... Это старый морж Фалиас сидит

под своей крышей и перелистывает календарь 1920 года, который я ему когда-то подарил. Накожные болезни у канареек и колыбели коронованных особ с картинками. Он *дома*. Выбросит за окно удочку, наловит для буйабеса десяток морских ершей и сыт. Сосна перед дверью старше его. И над дверью из морских ракушек выложено: *Фалиас*. Вы понимаете? А окна вон той виллы темны. Я вам говорил, мадам. Это наша бывшая вилла. Я в ней родился. Понимаете? Родился, рос, играл с братьями. Сосны, море и закат были нашими игрушками. Мы ловили под камнями сколопендр и сажали их в помадные баночки. В садике над морем сложен моими руками грот: брат был Пятницей, я — Робинзоном... Мы шлепали по воде с утра до заката, ловили и высасывали морских ежей, плавали вон до того далекого камня... Здесь моя родина. Вы понимаете, что такое родина, мадам? И вот три года тому назад — я вам рассказывал уже — отец за долги продал наш дом. Продал старому лавочнику в Борме, которому эта вилла так же нужна, как этой собаке цилиндр.

Дворняга у костра недовольно заворчала и отодвинулась.

— На осенние месяцы нашу виллу сдают какому-то голландскому художнику. Я ненавижу его, мадам, я видел его... Красный и глупый. Рисует море, а выходит лимонад. Спит на постели, на которой я родился, а в моем гроте у него склад пустых пивных бутылок... Я приезжаю сюда каждое лето, когда дом еще пуст, на две недели. Проверяю, цело ли наше гнездо. Днем брожу внизу у камней и смотрю на наши слепые окна. По вечерам перелезаю через забор и сижу в нашем садике на скамье, которую смастерил мой отец. Столб с солнечными часами покривился. Я его выровнял. Мимозу, надломленную ветром, перевязал... И вот видите, как я одет? Как огородное чучело. Я не пью даже сидра, не курю. Каждая папирота — лишний гвоздь в нашем заборе. Служу в садоводстве под Парижем, я вам рассказывал. Работаю, как мул... И каждое су откладываю. Год, два, четыре... Наш дом вернется к нам! Как вы думаете? Ведь лавочник продаст его мне опять? Зачем он ему? Я знаю, цены на землю растут... Вы думаете, что мне не угнаться? Но ведь лавочник очень приличный человек и не будет меня душить. Борм глухой городишко, там еще не все люди стали собаками... Как вы думаете, мадам?

Собака, внимательно слушавшая молодого садовника, иронически вскинула ухо.

Лидия Павловна смотрела на огонь и, слушая странные излияния лежавшего у костра человека, сочувственно покачивала головой. Утешала его: конечно, лавочник охотно продаст виллу сыну бывшего владельца. Пожалуй, и согласится, чтобы платили по частям... Жизнь вся впереди, родина — цветущий сад, большая родина — Франция, и маленькая —

Прованс...

Утешала и ухмылялась своим русским, затаенным мыслям, которые давно уже привыкла от всех прятать.

Юноша-жираф умолк. Сел на корточки. Перебрасывал в руках ярко тлеющие угольки... Потом встал, забросал песком догоравший костер, кивнул головой и, широко шагая, растворился вдали в лунном молоке.

Лидия Павловна сквозь колючий вереск и заросли можжевельника пошла к усадьбе. За ней шаг в шаг, преданно следуя по пятам, собака.

Сверкнули в соснах извилистые колеи ведущей к дому дороги... Чудак этот ей жаловался. Ей! Перелетной бездомной птице, залетевшей в его землю с русского пожара... Что ж. Как могла, она его утешила.

Она бодро встряхнулась. Не надо, не надо. Луна, море, тишина. И глубокий до самого дна души отдых. Больше ничего.

На асфальтовой террасе у дома голубели широкие лунные холсты. Из крана звонко шлепала вода. Жирная жаба, ловившая под краном холодные капли, испуганно карабкаясь вдоль стены, изо всех сил заспешила к углу дома во тьму лохматой герани. Она испугалась Лидии Павловны. Совсем напрасно испугалась, потому что учительница, наполнив блюдце водой, сама его отнесла к углу дома, чтобы безобразная ночная тварь напилась и успокоилась.

Бесшумно скользя с блюдцем под окном детской комнаты, Лидия Павловна услышала, как старший ученик тихо-тихо окликнул ее по имени.

— Ты что же это, Миша, до сих пор не спишь?

— Не сплю. Что вы делаете?

— Жабе пить несусь.

— Хорошо у моря?

— Чудесно.

— Жираф опять жаловался?

— Жаловался. Говори тише, а то брата разбудишь.

— Разбудишь, как же! Его хоть зубной щеткой под мышками щекочи...

Из окна вдруг высунулась худая детская лапка и лукаво-ласково дернула учительницу за плечо.

— Ай!

— Испугались?

Но собака толкнула сзади Лидию Павловну мордой под коленку. Будет! Что же это такое? Ведь спать пора. Ведь она, собака, должна учительницу до верхнего белого дома проводить.

И голоса смолкли. Никого не было на веранде. Если не считать звеневших над глицинией комаров да двух жаб, вылезших из-под герани к блюдцу с водой.

<1928>

### **Геласимов Андрей "Нежный возраст"**

*1. Как сложно в юности разобраться в себе, в людях.*

*2. О том, как молодые люди находят свой путь в жизни...*

14 марта 1995 года. 16 часов 05 минут (время московское).

Сегодня проснулся оттого, что за стеной играли на фортепиано. Там живет старушка, которая дает уроки. Играли дерьмово, но мне понравилось. Решил научиться. Завтра начну. Теннисом заниматься больше не буду.

15 марта 1995 года.

И плаванием заниматься не буду. Надоело. Все равно пацаны ходят только для того, чтобы за девчонками подглядывать. В женской душевой есть специальная дырка.

Ходил к старухе насчет фортепиано. Согласилась. Деньги, сказала, вперед. Она раньше была директором музыкальной школы. Потом то ли выгнали, то ли сама ушла. Рок-н-ролл играть не умеет. В квартире воняет дерьмом. Книжек много.

Посмотрим.

17 марта 1995 года.

Как меня все достали. В школе одни дебилы. Что учителя, что одноклассники. Гидроцефалы. Фракийские племена. Буйный расцвет дебилизма. Семенов лезет со своей дружбой. Может, попросить, чтобы меня перевели в обычную школу?

18 марта 1995 года.

Отец не дает денег на музыкальную старуху. Говорит, что я ничего не довожу до конца. Жмот несчастный. Говорит, что тренер по теннису стоил ему целое состояние. А может, я будущий Рихтер? Старухе надо-то на гречневую крупу. Жмот. Но он говорит — дело принципа. Сначала надо разобраться в себе.

Было бы в чем разбираться.

“А ты сам в себе разобрался?” — хотел я его спросить.

Но не спросил. Побоялся, наверное.

19 марта 1995 года.

Опять не дали уснуть всю ночь. Ругались. Сначала у себя в спальне, потом в столовой. Мама кричала как сумасшедшая. Может, они думают, что я глухой?

20 марта 1995 года.

Старуха дала какой-то древний черно-белый фильм. Сказала, что я должен посмотреть. Без денег учить отказывается.

В школе полный мрак.

Да будет свет, сказал монтер

И яйца фосфором натер.

Яйца, разумеется, были куриные. Тихо лежали в углу и светились во мраке системы просвещения.

Учителей надо разгонять палкой. Пусть работают на огородах. Достали.

23 марта 1995 года.

Интересно, сколько стоит хороший автомат? Мне бы в нашей школе он пригодился. Ненавижу девчонок. Тупые дуры. Распустят волосы и сидят. Каким надо быть дураком, чтобы в них влюбиться? Воображают фиг знает что.

Дома тоже автомат бы не помешал. Опять орали всю ночь. Они что, плохо слышат друг друга?

24 марта 1995 года.

В школу приходил тренер по теннису. Сказал, что я, конечно, могу не ходить, но денег он не вернет. Козел. Я спросил, не научит ли он меня играть на пианино.

Берешь автомат и стреляешь ему в лоб. Одиночным выстрелом.

25 марта 1995 года.

Антон Стрельников сказал, что влюбился в новую училку по истории. Лучше бы он крысиного яду наелся. Такая же тупая, как все.

Переводишь автомат на стрельбу очередями и начинаешь их всех поливать. Привет вам от Папы Карло.

25 марта — вечер.

Прикол. Снова приходил Семенов. Уговорил меня выйти во двор. Предложил закурить, но я отказался. Сказал, что теннисом занимаюсь. Он начал спрашивать, где и когда. Я сказал, что ему денег не хватит. Тогда он уронил свою сигарету, а я взял и поднял. Он подошел очень близко и поцеловал меня в щеку. Я не знал, что мне делать. Постоял, а потом треснул его по морде. Он упал и заплакал. Я сказал, что я его убью. У меня есть автомат. Не знаю, почему так сказал. Просто сказал — и все. Достал он меня. Тогда он сказал, чтобы я не пересаживался от него в школе. Сидел с ним, как раньше, за одной партой. А он мне за это денег даст. Я спросил его — сколько, и он сказал — пятьдесят. У него откуда-то взяли пятьдесят баксов. И я сказал — покажи. У него, правда, было пятьдесят баксов. Я их взял и снова треснул его по морде. У него пошла кровь, и он сказал, что я все равно теперь с ним сидеть буду. Я врезал ему еще раз.

26 марта 1995 года.

Старуха взяла деньги Семенова и сказала, что ее зовут Октябрина Михайловна. Ну и

имечко. В квартире воняет кошачьим дерьмом. Как она это терпит? Спросила: посмотрел ли я фильм?

А я даже не помню, куда засунул кассету. Не дай бог мама ее куда-нибудь зашвырнула. Она вчера много всего об стенку расколошматила. Может быть, ей купить автомат?

28 марта 1995 года.

Достали меня все. И этот дневник меня тоже достал. А не пойдешь ли ты к черту, дневник? А?

30 марта 1995 года.

Нашел кассету Октябрины Михайловны. Валялась под креслом у меня в комнате. Вроде бы целая. Неужели придется ее смотреть?

1 апреля 1995 года.

Сказал родителям, что меня выгоняют из школы. Они позабыли, что не разговаривают друг с другом почти неделю, и тут же начали между собой орать. Потом, когда успокоились, папа спросил: за что? Я сказал — за гомосексуализм. Он повернулся и врзал мне в ухо. Изо всех сил. Наверное, на маму так разозлился. Она опять закричала, а я сказал — дураки, сегодня первое апреля, ха-ха-ха.

2 апреля 1995 года.

Водил на улицу котов Октябрины Михайловны. Ей самой трудно. Они рвутся в разные стороны как сумасшедшие. Мяукают, кошек зовут. Я думал — у них это только в марте бывает. Пять сумасшедших котов на поводочках — и я. Соседние пацаны во дворе ржали как лошади.

Ухо еще болит.

Октябрина Михайловна опять спросила про фильм. Его, наверняка, снимали в эпоху немого кино. Все-таки придется смотреть. Жалко ее обманывать.

3 апреля 1995 года — почти ночь.

Пацаны во дворе помогли мне поймать котов. Я запутался в поводках, упал, и они разбежались. Один залез на дерево. Двое сидели на гараже и орали. Остальные носились по всему двору. Пацаны спросили меня — чьи это кошки, а потом помогли их поймать. Они сказали, что Октябрина Михайловна классная старуха. Она раньше давала им деньги, чтобы они не охотились на бродячих котов. А потом просто давала им деньги. Даже когда они перестали охотиться. На мороженое — вообще на всякую ерунду. Когда еще спускалась во двор. Но теперь давно уже не выходит. Пацаны спросили — как она там, и я ответил, что все нормально. Только в квартире немного воняет. И тогда они мне сказали, что если хочу, то я могу поиграть с ними в баскетбол.

Вечером в комнату приходил отец. Сидел, молчал. Потом спросил про уроки. Они опять с мамой не разговаривают.

Может, он хотел извиниться?

4 апреля 1995 года.

Вот это да! Просто нет слов. Я кассету наконец посмотрел. Называется “Римские каникулы”. Надо переписать себе обязательно.

5 апреля 1995 года.

Октябрина Михайловна говорит, что актрису зовут Одри Хепберн. Она была знаменитой лет сорок назад. Я не понимаю: почему она вообще перестала быть знаменитой? Никогда не видел таких... даже не знаю как назвать... женщин. Нет, женщин таких не бывает. У нас



в классе учатся женщины.

Одри Хепберн — красивое имя. Она совсем другая. Не такая, как у нас в классе. Я не понимаю, в чем дело.

6 апреля 1995 года.

Снова смотрел “Каникулы”. Невероятно. Откуда она взялась? Таких не бывает.

Сегодня играл с пацанами во дворе в баскетбол. Высокий Андрей толкнул меня, и я свалился в большую лужу. Он подошел, извинился и помог мне встать. А потом сказал, что не хотел бить меня два года назад, когда все пацаны собрались, чтобы поймать меня возле подъезда. Они хотели сломать мой велосипед. Отец привез из Арабских Эмиратов. Андрей сказал, что не хотел бить. Просто все решили, а он подчинился. Я ему сказал, что не помню об этом.

Мне тогда зашивали бровь. Бровь и еще на локте два шрама.

А завтра идем играть против пацанов из другого двора. С нашими я уже со всеми здороваюсь за руку.

Отец приходил. Сказал, что я сам виноват в том, что случилось первого апреля. Не надо было так по-дурацки шутить. Я сказал ему — да, конечно.

7 апреля 1995 года.

Мама говорит, что я достал ее со своим черно-белым фильмом. Она не помнит Одри Хепберн. Она мне сказала: ты что, думаешь, я такая старая? Смотрел “Римские каникулы” в седьмой раз. Папа сказал, что он видел еще один фильм с Одри — “Завтрак у Тиффани”. Потом посмотрел на меня и добавил, чтобы я не забивал себе голову ерундой.

А я забиваю. Смотрю на нее. Иногда останавливаю пленку и просто смотрю.

Откуда она взялась? Почему за сорок лет больше таких не было?

Одри.

9 апреля 1995 года.

Октябрина Михайловна показала мне песню “Moon River”. Из фильма “Завтрак у Тиффани”. Кассеты у нее нет. Когда пела — несколько раз останавливалась. Отворачивалась к окну. Я тоже туда смотрел. Ничего там такого не было, за окном. Потом сказала, что они ровесницы. Она и Одри. Я чуть не свалился со стула. 1929 год. Лучше бы она этого не говорила. Еще сказала, что Одри Хепберн умерла два года назад в Швейцарии. В возрасте 63 лет.

Какая-то ерунда. Ей не может быть шестьдесят три года. Никому не может быть столько лет.

А Октябрина Михайловна сказала: “Значит, мне тоже пора. Все кончилось. Больше ничего не будет”.

Потом мы сидели молча, и я не знал, как оттуда уйти.

12 апреля 1995 года.

Я рассказал Октябрине Михайловне про Семенова. Не про то, конечно, откуда у меня взялись для нее деньги, а так — вообще. В принципе про Семенова. Она дала мне книжку Оскара Уайльда. Про какой-то портрет. Завтра читаю.

Через две недели у меня день рождения. Думаю позвать пацанов из двора. Интересно, что скажет папа?

Он приходил сегодня ночью. Я уже спал. Вошел и включил свет. Потом сказал: “Не прикидывайся. Я знаю, что ты не спишь”.

Я посмотрел на часы — было двадцать минут четвертого. Еле глаза открыл. А он говорит: “Вот видишь”. И я подумал: а что это интересно я должен “вот видеть”?

Он сел к моему компьютеру и стал пить свое виски. Прямо из горлышка. Минут десять, наверное, так сидели. Он у компьютера — я на своей кровати. Я подумал: может, штаны надеть? А он говорит: с кем я хочу остаться, если они с мамой будут жить по отдельности? Я говорю — ни с кем, я хочу спать. А он говорит — у тебя могла быть совсем другая мама. Ее должны были звать Наташа. А я думаю — у меня маму зовут Лена. А он говорит — шлюха она. А я ему говорю — мою маму зовут Лена. Он посмотрел на меня и говорит: а ты уроки приготовил на завтра?

15 апреля 1995 года.

Вчера ходили с нашими пацанами драться в соседний двор. Те проиграли нам в баскетбол и не хотят отдавать деньги. Уговор был на двадцать баксов. Наши пацаны дней пять собирали свою двадцатку. Трясли по всему району шпану. Тех, у кого есть бабки. Раньше бы и меня трясли. Короче, высокий Андрей сказал — надо наказывать. Мне сломали ползуба. Теперь придется вставлять. Пацаны заглядывали мне в рот и хлопали по плечу. Андрей сказал — с боевым крещением.

В школе все по-прежнему. Полный отстой. Антон Стрельников влюбился в другую училку. Алгебра на этот раз. Придурок. Про Одри Хепберн он даже не слышал. Хотел сперва дать ему фильм, но потом передумал. Пусть тащится от своих теток.

16 апреля 1995 года.

Семенов пришел в школу весь в синяках. У меня тоже верхняя губа еще не прошла. Опухла и висит, как большая слива. Нормально смотримся за одной партой. Антон говорит, что Семенова папаша отделал. Примерно догадываюсь за что. Но Антон говорит, что он его постоянно колотит. С детского сада еще. Они вместе в один детский садик ходили. Говорит, что папаша бил Семенова прямо при воспитателях. Даже милиция приезжала. Но он откупился. Раздал бабки ментам и утащил маленького Семенова за воротник в машину. В машине, говорит Антон, еще ему добавил. А Семенов из машины визжал как поросенок. “Нам тогда было лет шесть,— сказал Антон.— Мы стояли вокруг джипа и старались заглянуть внутрь. Окна-то высоко. Слышно только, как он визжит, и посмотреть охота. А воспитательницы все ушли. Семеновский папаша им тоже тогда денег дал. Да и холодно было. Почти Новый год. Чего им на улице делать? Ну да — на следующий день подарки давали — елка там, Дед Мороз”.

17 апреля 1995 года.

Дома больше никто не орет. Они вообще не разговаривают друг с другом. Даже через меня. Мама два раза не ночевала дома. Папа смотрел телевизор, а потом пел. Закрывался в ванной комнате и пел какие-то странные песни. В два часа ночи. Интересно, что подумали соседи?

Октябрина Михайловна говорит, что у детей проблемы с родителями оттого, что дети не успевают застать своих родителей в нормальном возрасте. Пока те еще не стали такими, как сейчас. В этом заключается драма. Так говорит Октябрина Михайловна. А раньше они были нормальные.

Она говорит, что помнит, как мой папа появился в нашем доме.

“Он был такой худой, веселый. И сразу видно, что из провинции”.

Оказывается, у мамы уже был тогда парень, почти жених. Октябрина Михайловна не

помнит его имени.

Сегодня специально ходил по улицам и смотрел — сколько женщин походит на Одри Хепберн.

Нисколько.

Промочил ноги и потерял ключи. Жалко брелок. Если свистишь, он отзывается. Посвистел во дворе немного — бесполезно. Где-то в другом месте, видимо, уронил.

18 апреля 1995 года.

Октябрина Михайловна вспомнила, как папа (только он тогда был еще не папа, а просто неизвестно кто) однажды пришел на день рождения к маме в костюме клоуна. Шел в нем прямо по улице, а потом показывал фокусы. В подъезде и во дворе. Все соседи вышли из своих квартир. Она говорит — было ужасно весело. Все смеялись и хлопали.

Дочитал книжку Оскара Уайльда. Круто. Может, позвать Семенова на день рождения?

Ходил свистеть на соседнюю улицу. Губа почти не болит, но из-за сломанного зуба свистеть как-то не так. Брелок не нашелся. Вместо него появились те пацаны, с которыми мы дрались на прошлой неделе.

Еле убежал.

19 апреля 1995 года.

Сегодня приходил милиционер. Оказывается, высокий Андрей сломал одному из тех пацанов ключицу. Теперь его родители подали в суд. Я видел, как Андрей тогда схватил обрезок трубы, но милиционеру ничего не сказал. Я там, говорю, вообще не был. А он смотрит на мое разбитое лицо и говорит: не был? Я говорю — нет.

Пацаны во дворе сказали мне — ты нормальный.

Я не предатель.

Вчера приснилось, что это меня затащил в машину отец. Бьет изо всех сил, а я не могу от него увернуться. Только голову закрываю. Руки маленькие — никак от него не закрыться. Он такой большой, а у меня пальто неудобное. С воротником. И руки в нем плохо поднимаются. Я уже забыл о нем, а теперь вдруг во сне увидел. Бабушка подарила, когда мне было пять лет. А в окно машины заглядывает Антон Стрельников. Но почему-то большой. И целуется с учительницей алгебры.

Потом приснилась Одри.

20 апреля 1995 года.

Я умею играть “Moon River” на пианино. Одним пальцем. Октябрина Михайловна смеется надо мной и говорит, что остальные девять мне не нужны. Со мной и так все ясно.

Посмотрим.

Папа сказал, что костюм клоуна ему одолжил один приятель из циркового училища. Он говорит, что у него не было денег на нормальный подарок тогда.

“Какие подарки? Вообще не было денег. Пришлось корчить из себя дурака. Чуть от стыда не умер. А ты откуда узнал?”

Я говорю — от Октябрины Михайловны. А он говорит: ты где для нее деньги нашел? Я говорю — секрет фирмы.

Мама опять не ночевала дома.

21 апреля 1995 года.

Семенов сказал, что знает настоящее имя Одри. А я ему говорю — я думал, что Одри —

настоящее. А он говорит — ни фиги. Ее звали Эдда Кэтлин ван-Хеемстра Хепберн-Рустон. Я ему говорю — напиши. Он написал. Я говорю: а ты-то откуда знаешь? Он говорит — я в детстве любил прикольные имена запоминать. Первого монгольского космонавта звали Жугдэрдемидийн Гуррагча. Я говорю — врешь. А второго? Он говорит — второго не было. Можешь проверить. А первого звали Гуррагча. Сам посмотри на Интернете. Там и про Одри Хепберн до фиги всего есть. Я говорю: например? Он говорит — ну, она дочь голландской баронессы и английского банкира. Снималась в Голливуде в пятидесятых годах. А до этого — в Англии. Я говорю: а ты зачем про нее смотрел?

Он молчит и ничего мне не отвечает. Я ему снова говорю. И он тогда пальцем показывает на мою тетрадь. Там четыре раза на одной странице написано: “Одри Хепберн”.

24 апреля 1995 года.

Снова рассказал Октябрине Михайловне про Семенова. Она сказала — дело в том, что мы все в итоге должны умереть. Это и есть самое главное. Мы умрем. А если это понял, то уже не важно — каков твой друг. Просто его становится жалко. И себя жалко. И родителей. Вообще всех. А все остальное — не важно. Утрясется само собой. Главное, что пока живы. Она говорит, а сама на меня смотрит и потом спрашивает: ты понял? Я говорю — понял. Только Семенов мне как бы не друг. А она говорит — это тоже не важно. Вы оба умрете. Я думаю — спасибо, конечно. Но так-то она права. Она говорит — потрогай свою коленку. Я потрогал. Она говорит — что чувствуешь? Я говорю — коленка. Она говорит — там кость. У тебя внутри твой скелет. Настоящий скелет, понимаешь? Как в ваших дурацких фильмах. Как на кладбище. Он твой. Это твой личный скелет. Когда-нибудь он обнажится. Никто не может этого изменить. Надо жалеть друг друга, пока он внутри. Ты понимаешь? Я говорю — чего непонятного? Скелет внутри — значит, все нормально. Она улыбается и говорит — молодец. А вообще умирать не страшно. Как будто вернулся домой. Как в детстве. Ты в детстве любил куда-нибудь ездить? Я говорю — к бабушке. Она в деревне живет. Она говорит — ну вот, значит, как к бабушке. Ты не бойся. Я говорю — я не боюсь. Она говорит — умирать не страшно.

2 мая 1995 года.

Высокого Андрея арестовали. Не за ключицу. За нее, видимо, будет отдельный срок. Все получилось из-за Семенова. Семенов у меня на дне рождения без конца рассказывал всякую чепуху про черных рэпперов и хип-хоп. А пацаны из двора слушали его с раскрытыми ртами. Папа мне даже потом сказал — он что, из музыкальной тусовки? Я объяснил ему насчет Интернета. Но пацаны про Интернет не в курсе. Только в общих чертах. Они не знали, что Семенов меня заранее спросил — кто будет на дне рождения. Высокий Андрей мне на кухне сказал — классный парень. Он что, типа из Америки приехал? А я говорю — просто читает много. Интересуется. Короче, они ушли вместе с Андреем и потом, видимо, где-то напились. Я не знаю, как у них там все получилось, но к утру джип семеновского папаши сгорел в гараже. Плюс еще две машины какого-то депутата. Он их от проверки там прятал. В Думе теперь шерстят за лишние тачки. Папаша бил Семенова ножкой от стула. Сломал ему несколько ребер и кисть левой руки. Наверное, Семенов этой рукой закрывался. Но от милиции откупил. Арестовали одного Андрея. Пацаны во дворе ходят груженные. В баскетбол перестали играть. Со мной не разговаривают.

11 мая 1995 года.

Приходила мама. Сказала: можно поговорить? Я сказал — можно. Она говорит — ты какой-то странный в последнее время. У тебя все в порядке? Я говорю: это я странный? Она говорит — не хаами. И смотрит на меня. Так, наверное, минут пять молчали. А потом

говорит — я, может, уеду скоро. Я говорю — а. Она говорит — может, завтра. Я снова говорю — а. Она говорит: я не могу тебя взять с собой, ты ведь понимаешь? Я говорю — понятно. А она говорит: чего ты заладил со своим “понятно”? А я говорю — я не заладил, я только один раз сказал. Сказал и сам смотрю на нее. А она на меня смотрит. И потом заплакала. Я говорю: а куда? Она говорит — в Швейцарию. Я говорю — там Одри Хепберн жила. Она говорит: это из твоего кино? Я говорю — да. Она смотрит на меня и говорит — красивая? Я молчу. А она говорит: у тебя девочка есть? Я говорю: а у тебя когда самолет? Она говорит — ну и ладно. Потом еще молчали минут пять. В конце она говорит: ты будешь обо мне помнить? Я говорю — наверное. На память пока не жалею. Тогда она встала и ушла. Больше уже не плакала.

14 мая 1995 года.

Октябрина Михайловна умерла. Вчера вечером. Больше не буду писать. Не буду.

г. Якутск

## Платонов Андрей Третий сын

1. *Дом и семья.*
2. *Любовь, уважени е, доверие близких.*
3. *Отцы и дети.*
4. *Жизнь и смерть.*

В областном городе умерла старуха. Ее муж, семидесятилетний рабочий на пенсии, пошел в телеграфную контору и дал в разные края и республики шесть телеграмм однообразного содержания: "Мать умерла приезжай отец".

Пожилая служащая долго считала деньги, ошибалась в счете, писала расписки, накладывала штемпеля дрожащими руками. Старик кротко глядел на нее через деревянное окошко красными глазами и рассеянно думал что-то, желая отвлечь горе от своего сердца. Пожилая служащая, казалось ему, тоже имела разбитое сердце и навсегда смущенную душу - может быть, она была вдовицей или по злой воле оставленной женой.

И вот теперь она медленно работает, путает деньги, теряет память и внимание; даже для обыкновенного, несложного труда человеку необходимо внутреннее счастье.

После отправления телеграмм старый отец вернулся домой; он сел на табуретку около длинного стола - у холодных ног своей покойной жены, курил, шептал грустные слова, следил за одинокой жизнью серой птицы, прыгающей по жердочкам в клетке, иногда потихоньку плакал, потом успокаивался, заводил карманные часы, поглядывал на окно, за которым менялась погода в природе, то падали листья вместе с хлопьями сырого, усталого снега, то шел дождь, то светило позднее солнце, нетеплое, как звезда, - и старик ждал сыновей.

Старший сын прилетел на аэроплане на другой же день. Остальные пять сыновей собрались в течение двух следующих суток.

Один из них, третий по старшинству, приехал вместе с дочкой, шестилетней девочкой, никогда не выдавшей своего деда.

Мать ждала на столе уже четвертый день, но тело ее не пахло смертью, настолько оно было опрятным от болезни и сухого истощения; давшая сыновьям обильную, здоровую жизнь, сама старуха оставила себе экономичное, маленькое, скупое тело и долго старалась сберечь его, хотя бы в самом жалком виде, ради того, чтобы любить своих детей и гордиться ими, - пока не умерла.

Громадные мужчины - в возрасте от двадцати до сорока лет - безмолвно встали вокруг гроба на столе. Их было шесть человек, седьмым был отец, ростом меньше самого младшего своего сына и слабосильнее его. Дед держал на руках внучку, которая зажмурила глаза от страха перед мертвой незнакомой старухой, чуть глядящей на нее из-под прикрытых век белыми неморгающими глазами.

Сыновья молча плакали редкими, задержанными слезами, искажая свои лица, чтобы без звука стерпеть печаль. Отец их уже не плакал, он отплакался один раньше всех, а теперь с тайным волнением, с неуместной радостью поглядывал на могучую полдюжину своих сыновей. Двое из них были моряками командирами кораблей, один - московским артистом, один - у кого была дочка - физиком, коммунистом, самый младший учился на агронома, а старший сын работал начальником цеха аэропланового завода и имел орден на груди за свое рабочее достоинство. Все шестеро и седьмой отец бесшумно находились вокруг мертвой матери и молчаливо оплакивали ее, скрывая друг от друга свое отчаяние, свое воспоминание о детстве, о погибшем счастье любви, которое беспрерывно и безвозмездно рождалось в сердце матери и всегда - через тысячи верст - находило их, и они это постоянно, безотчетно чувствовали и были сильнее от этого сознания и смелее делали успехи в жизни. Теперь мать превратилась в труп, она больше никого не могла любить и лежала как равнодушная, чужая старуха.

Каждый ее сын почувствовал себя сейчас одиноко и страшно, как будто где-то в темном поле горела лампа на подоконнике старого дома, и она освещала ночь, летающих жуков, синюю траву, рой мошек в воздухе - весь детский мир, окружающий старый дом, оставленный теми, кто в нем родился; в том доме никогда не были затворены двери, чтобы в него могли вернуться те, кто из него вышел, но никто не возвратился назад. И теперь точно сразу погас свет в ночном окне, а действительность превратилась в воспоминание.

Умирая, старуха наказала мужу-старика, чтобы священник отслужил по ней панихиду, когда она будет лежать дома, а уж выносить и опускать в могилу можно без попа, чтобы не обидеть сыновей и чтоб они могли идти за ее гробом. Старуха не столько верила в бога, сколько хотела, чтобы муж, которого она всю жизнь любила, сильнее тосковал и печалился по ней под звуки пения молитв, при свете восковых свечей над ее посмертным лицом; она не хотела расстаться с жизнью без торжества и без памяти. Старик после приезда детей долго искал какого-либо попа, наконец привел под вечер одного человека, тоже старичка, одетого обыкновенно, по-штатскому, розового от растительной постной пищи, с оживленными глазами, в которых блестели какие-то мелкие целевые мысли. Поп пришел с военной командирской сумкой на бедре; в ней он принес свои духовные принадлежности: ладан, тонкие свечи, книгу, епитрахиль и маленькое кадило на цепочке. Он быстро уставил и возжег свечи вокруг гроба, раздул ладан в кадиле и с ходу, без предупреждения, забормотал чтение по книге. Находившиеся в комнате сыновья поднялись на ноги; им стало неудобно и стыдно чего-то. Они неподвижно, в затылок друг другу, стояли перед гробом, опустив глаза. Перед ними поспешно, почти иронически, шел и бормотал пожилой человек, поглядывая небольшими, понимающими глазами на гвардию потомков покойной старухи. Он их побаивался, отчасти же уважал и, видимо, не прочь был вступить с ними в беседу и даже высказать энтузиазм перед строительством социализма. Но сыновья молчали, никто, даже муж старухи, не крестился - это был караул у гроба, а не присутствие на богослужении.

Окончив скорую панихиду, поп быстро собрал свои вещи, потом загасил свечи, горевшие у гроба, и сложил все свое добро обратно в командирскую сумку. Отец сыновей дал ему в руку денег, и поп, не задерживаясь, пробрался сквозь строй шестерых мужчин, не взглянувших на него, и боязливо скрылся за дверь. В сущности же, он с удовольствием бы остался в этом доме на поминки, поговорил бы о перспективах войн и революций и надолго получил бы утешение от свидания с представителями нового мира, которыми он втайне восхищался, но проникнуть в него не мог; он мечтал в одиночестве

совершить когда-нибудь враз героический подвиг, чтобы прорваться в блестящее будущее, в круг новых поколений, для этого он даже подал прошение местному аэродрому, чтобы его подняли на самую высокую высоту и оттуда сбросили вниз на парашюте без кислородной маски, но ему не дали оттуда ответа.

Вечером отец постелил шесть постелей во второй комнате, а девочку-внучку положил на кровати рядом с собой, где сорок лет спала покойная старуха. Кровать стояла в той же большой комнате, где находился гроб, а сыновья перешли в другую. Отец постоял в дверях, пока его дети не разделись и не улеглись, а потом притворил дверь и ушел спать рядом с внучкой, всюду потушив свет. Внучка уже спала, одна на широкой кровати, укрывшись в одеяло с головой.

Старик постоял над ней в ночном сумраке; выпавший снег на улице собирал скудный, рассеянный свет неба и освещал тьму в комнате через окна. Старик подошел к открытому гробу, поцеловал руки, лоб и губы жены и сказал ей: "Отдыхай теперь". Он осторожно лег рядом с внучкой и закрыл глаза, чтобы сердце его все забыло. Он задремал и вдруг снова проснулся. Из-под двери комнаты, где спали сыновья, проникал свет - там опять зажгли электричество, и оттуда раздавался смех и шумный разговор.

Девочка от шума начала ворочаться, может быть, она тоже не спала, только боялась высунуть голову из-под одеяла - от страха перед ночью и мертвой старухой.

Старший сын с увлечением, с восторгом убежденности говорил о пустотелых металлических пропеллерах, и голос его звучал сыто и мощно, чувствовались его здоровье, вовремя отремонтированные зубы и красная глубокая гортань. Братья моряки рассказывали случаи в иностранных портах и хохотали, что отец покрыл их сейчас старыми одеялами, которыми они накрывались еще в детстве и отрочестве. К этим одеялам сверху и снизу были пришиты белые полоски бязи с надписями "голова", "ноги", чтобы стелить одеяла правильно и грязным, потным краем, где были ноги, не покрывать лица. Затем один моряк схватился с артистом, и они начали возиться по полу, как в детстве, когда они жили все вместе. Младший же сын подзадоривал их, обещая принять их обоих на одну свою левую руку. Видимо, все братья любили друг друга и радовались своему свиданию. Уже много лет они не съезжались все вместе, и в будущем неизвестно, когда еще съедутся. Может быть, только на похороны отца? Развозившись, два брата опрокинули стул, тогда они на минуту притихли, но, вспомнив, видимо, что мать мертвая, ничего не слышит, они продолжили свое дело. Вскоре старший сын попросил артиста, чтобы он спел что-нибудь вполголоса: он ведь знает хорошие московские песни. Но артист сказал, что ему трудно начать ни с того ни с сего, ни под слово. "Ну, закройте меня чем-нибудь", - попросил московский артист. Ему накрыли чем-то лицо, и он запел из-под прикрытия, чтоб не было стыдно начинать. Пока он пел, младший сын что-то предпринял там, отчего другой его брат сорвался с кровати и упал на третьего, лежавшего на полу. Все засмеялись и велели младшему немедленно поднять и уложить упавшего одной левой рукой. Младший тихо ответил своим братьям, и двое из них захохотали - так громко, что девочка-внучка высунула свою голову из-под одеяла в темной комнате и позвала:

- Дедушка! А дедушка! Ты спишь?

- Нет, я не сплю, я ничего, - сказал старик и робко покашлял.

Девочка не сдержалась и всхлипнула. Старик погладил ее по лицу: оно было мокрое.

- Ты что плачешь? - шепотом спросил старик.

- Мне бабушку жалко, - сказала внучка. - Все живут, смеются, а она одна умерла.

Старик ничего не сказал. Он то сопел носом, то покашливал. Девочке стало страшно, она приподнялась, чтобы лучше видеть деда и знать, что он не спит. Она разглядела его лицо и спросила:

- А почему ты тоже плачешь? Я перестала.

Дед погладил ей головку и шепотом ответил:

- Так... Я не плачу, у меня пот идет.

Девочка сидела на кровати около изголовья старика.

- Ты по старухе скучаешь? - говорила она. - Лучше не плачь: ты старый, скоро умрешь, тогда все равно не будешь плакать.

- Я не буду, - тихо отвечал старик.

В другой, шумной комнате вдруг наступила тишина. Кто-то из сыновей перед этим что-то сказал. Там все сразу умолкли. Один сын опять что-то негромко произнес. Старик по голосу узнал третьего сына, ученого-физика, отца девочки. До сих пор не слышно было его звука: он ничего не говорил и не смеялся. Он чем-то успокоил всех своих братьев, и они перестали даже разговаривать.

Вскоре оттуда открылась дверь и вышел третий сын, одетый как днем. Он подошел к матери в гробу и наклонился над ее смутным лицом, в котором не было больше чувства ни к кому.

Стало тихо из-за поздней ночи. Никто не шел и не ехал по улице. Пять братьев не шевелились в другой комнате. Старик и его внучка следили за своим сыном и отцом, не дыша от внимания.

Третий сын вдруг выпрямился, протянул руку во тьме и схватился за край гроба, но не удержался за него, а только сволок его немного в сторону, по столу, и упал на пол. Голова его ударилась, как чужая, о доски пола, но сын не произнес никакого звука, - закричала только его дочь.

Пять братьев в белье выбежали к своему брату и унесли его к себе, чтобы привести в сознание и успокоить. Через несколько времени, когда третий сын опомнился, все другие сыновья уже были одеты в свою форму и одежду, хотя шел лишь второй час ночи. Они поодиночке, тайно разошлись по квартире, по двору, по всей ночи вокруг дома, где жили в детстве, и там заплакали, шепча слова и жалуясь, точно мать стояла над каждым, слышала его и горевала, что она умерла и заставила своих детей тосковать по ней; если б она могла, она бы осталась жить постоянно, чтоб никто не мучился по ней, не тратил бы на нее своего сердца и тела, которое она родила... Но мать не вытерпела жить долго.

Утром шестеро сыновей подняли гроб на плечи и понесли его закапывать, а старик взял внучку на руки и пошел им вслед, он теперь уже привык тосковать по старухе и был доволен и горд, что его также будут хоронить эти шестеро могучих людей, и не хуже.

## Солоухин Владимир "Под одной крышей"

*Идея рассказа В.Солоухина «Под одной крышей» заключается в том, что люди должны уметь прощать друг друга, не отвечать злом на зло: все равно зло бумерангом возвращается к тому, кто его совершил. Это рассказ о том, что в, казалось бы, безвыходных ситуациях нужно уметь принимать мудрое решение, не поддаваться минутным порывам злости, не идти на поводу у сиюминутных порывов жестокости. Смысл рассказа – отнюдь не бытовые подробности, а вечный конфликт и переплетение двух начал: добра и зла.*

Некоторое время волею судеб мы жили в деревне Светихе, занимая половину пятистенного дома. Половины были отгорожены друг от дружки наглухо: мы выходили из дому на свою сторону, соседи - на свою. Но все же была общая стена. В сенях сквозь нее проникали к нам запахи картошки, поджариваемой на постном масле, жареного лука, жареной трески, запах самой керосинки.

Достигали и звуки. Отчетливо было слышно, как соседствующая хозяйка Нюшка рубит



уткам крапиву, как храпит в сенях ее отец, дядя Павел, как тьякает вздорная собачонка с нелепой для деревни кличкой Рубикон, как ежедневно ругаются между собой отец с дочерью.

Они жили вдвоем, потому что остальные многочисленные дети дяди Павла все разъехались по сторонам. Одна только Нюшка приросла к деревенскому дому. Она овдовела в первые дни войны и с тех пор живет без мужика, что, вероятно, тоже наложило свою печать на ее и без того нелегкий характер.

У дяди Павла пенсия – двадцать семь рублей. Нюшка на ферме зарабатывает гораздо больше. Вероятно, главные раздоры между отцом и дочерью начались с этого материального неравенства. Нюшка отделила дядю Павла от своего стола и поставила дело так, чтобы он питался отдельно. Оно бы ничего. Восемидесятилетнему старику нужно немного. Двадцати семи пенсионных рублей - по деревенской жизни - как раз бы хватило. Но у Нюшки, кроме зарплаты, было еще одно преимущество: она была женщиной, стряпухой, хозяйкой. Ей сподручней топить печку, варить похлебку, жарить картошку на постном масле. Нельзя было вдвоем соваться в одну и ту же печь. Да и характер обидевшегося дяди Павла не позволял никаких совместных действий. Таким образом, старик обычно сидел на сухоматке.

Половину дня Нюшка проводила на ферме. В это время дядя Павел иногда зажигал керосинку, чтобы разогреть хотя бы рыбные консервы – кильку в томате. В старости, когда остывает кровь, говорят, особенно хочется горяченького. Но чаще дядя Павел стоял перед домом, нахохлившись, в своей стеганке, глядя вдоль села слезящимися глазами, и, отщипывая из кармана, жевал хлебушек, гоняя его по рту беззубыми деснами. Иногда старик баловал себя печеньем, тоже обламывая его в кармане. Это не от жадности, не для того, чтобы не показывать людям, но зачем же стоять посреди улицы с кульком печенья или с куском хлеба в руках.

За стеной в такие часы было тихо. Но как только Нюшка приходила с фермы, начинали зарождаться звуки и шумы. Вот хозяйка ласково поговорила с Рубиконом. Пожалуй, это было единственное существо в ее доме, с которым она говорила ласково, не считая разве уточки-хромоножки. С Рубиконом Нюшка говорила так:

– Ну, что, соскучился, дурачок! Скушно, чай, сидеть целый день на цепи? Сейчас я тебя отвяжу. Ах ты, собачья голова, понял, обрадовался. Ступай, побегай.

Затем начиналось кормление уток:

– Ах ты миленькая, ах ты хроменькая моя, на вот тебе отдельно... А ты куда лезешь, лопай со всеми вместе! – Это на какую-нибудь утку, решившую полакомиться из блюда хромоножки.

Поросенок, почуяв еду, начинал визжать пронзительно и надсадно.

– Холера, успеешь, замолчи, вот я тебе сейчас покричу, я тебе сейчас покричу!

Если бы еще какая-нибудь скотина была у Нюшки, то, вероятно, отборные словечки нарастали бы и дальше. Но никакой скотины больше не было. Оставался дядя Павел.

Я думаю, что самая отборная брань приходилась на дядю Павла вовсе не потому, что дочь относилась к отцу хуже, чем к Рубикону или к поросенку. Но ведь дядя Павел, в отличие от бессловесных тварей, мог отвечать, и брань его бывала обычно не менее остроумной и изощренной.

После каждой очередной схватки старик шел на нашу половину. Он здоровался у порога, снимал шапку и садился на стул, унося его от стола на середину комнаты. Мы уговаривали старика сесть с нами и выпить чашку чаю, но чем больше мы его уговаривали, тем дальше

и дальше он отодвигал свой стул.

Сначала разговор шел о том о сем: что вот опять нет дождя или, напротив, что вот опять с утра дождь, - потом дядя Павел решительно переходил на главную тему:

– Сволочь. И откуда такие зарождаются? Ведь что она надо мной вытворяет! Чистого кипятку не дает. Да ляд с ним, кипятком, хоть бы не кричала, не срамила последними словами. Помню, я со старшей дочерью жил. Рай, а не жизнь. Бывало, с работы идет, а я сижу в избе у окна. Так она еще с улицы в окно поглядит, смеется: «Ну как, петушок, сидишь, лиса тебя не утащила?» Пошутит эдак-то, и сразу у нас человеческая жизнь. А эта... И голос у дяди Павла меняется. – Каблуком бы ее раздавить...

Мы со смущением слушали откровенные излияния отца по поводу дочери, большую часть которых я не могу здесь привести по чисто цензурным соображениям.

– Вот погодите, – предрекал дядя Павел, – она вам здесь житья не даст, покарай меня бог.

Это предположение нам казалось странным и неправдоподобным. Как это может быть, чтобы к нам стали относиться плохо, если мы сами ко всем относимся хорошо или, во всяком случае, никому не мешаем? Но мрачные предсказания дяди Павла неожиданно начали сбываться.

У жителей этой деревни существует привычка – помои выливать на дорогу. Если раздуматься, нарочно не изобретешь такой отвратительной привычки, потому что если в выливаемых помоях есть какая-нибудь зараза, то нет вернее способа распространить ее на всю округу, как вылить на дорогу. Проедет телега либо машина – и повезут заразу, прилипшую к колесу, по всему белому свету. Но тем не менее эта дурная привычка в Светихе существует. Каждая хозяйка выносит помои на дорогу против своих окон и выливает их в колею.

Против пятистенка, в котором нам привелось тогда жить, не было никакой дороги, он располагался в стороне от главной улицы. Против дома ровная зеленая лужайка. По ней приятно ступать босиком, приятно полежать на ней в тени развесистой старой липы. Посреди полянки, шагах в семи от окон, канавка не канавка, ложбинка не ложбинка. Когда-нибудь прокопали канавку, но теперь она сгладилась и заросла все той же шелковой травкой. От этой ложбинки большая польза: во время летнего ливня или затяжных невеселых дождей вода не собирается перед окнами в лужи, не застаивается, но мчится вдоль по ложбинке в отдельный пруд.

И вот мы видим из окна, что Нюшка выносит большой таз помоев и выливает его на лужайку, как раз против окон. Во-первых, теперь не полежишь на траве под липой; во-вторых, начнут разводиться мухи, которые будут залетать в окна и садиться на хлеб и сахар; в-третьих, помои во время дождя стекут в пруд, в котором жители полощут белье, моют ноги после трудового дня, а ребятишки иногда купаются.

Моя жена, окончившая медицинский институт по санитарно-гигиеническому профилю, не могла вынести этого зрелища – помойки посреди деревенской улицы, да еще под самыми окнами. Нюшке же чем-то понравилась лужайка, и она каждый день стала носить помои и выливать их на одно и то же место. Зловонная черная язва образовалась на нашей чистой зеленой лужайке. Две вороны постоянно торчали там, выклеивали из грязи остатки чего-то перегнившего, но еще, по-видимому, съедобного для ворон.

Во время очередного прихода к нам дяди Павла мы попросили его, чтобы он уговорил дочь, хотя бы и от нашего имени, перенести помойку куда-нибудь на задворки.

– И боже сохрани! Не буду и заикаться. И вам не советую. Да можно ли ей сказать что-нибудь поперек! Вы ее еще не знаете.

Мы никак не могли поверить в это и пошли делегацией на другую половину дома.

Нюшка возилась у печки.

– Здравствуйте, – бросила нам Нюшка довольно резко в ответ на наше совершенно робкое: «Здравствуйте».

Мы присели на скамейку около порога и стали ждать появления хозяйки из-за кухонной перегородки. Хозяйка вышла. Впервые я разглядел ее как следует. Это была женщина лет сорока пяти, низкорослая, круглолицая, со следами некоторой миловидности, но с каким-то угрюмым, недружелюбным выражением. В лице ее, в общем-то, все было заурядным: жидкие блеклые волосы того цвета, когда не скажешь, что шатенка, но не скажешь, что и русая, маленькие глазки, про которые не скажешь, что они серые, но не назовешь их и голубыми, невыразительный маленький рот, – одним словом, все рядовое и будничное. При всем том, когда она улыбнулась, выйдя из-за перегородки, на щеках у нее возникло по ямочке, и я представил себе, что лет двадцать пять или двадцать семь назад она могла казаться вполне миловидной.

Улыбка подбодрила нас, и мы приступили к делу. Мы говорили о вреде мух, о свирепости летних болезней, о чувстве и значении прекрасного. Это была обстоятельная лекция о сангигиене и по охране природы одновременно. Нюшка слушала молча, пока мы не дошли до ее конкретной помойки. Наконец я собрался с духом и проговорил:

– Так что просим тебя, Анна Павловна, помойку перенести куда-нибудь на зады, в удобное место.

Скорее всего я ожидал согласия. В крайнем случае могли последовать какие-нибудь деловые возражения – мало ли что у нее в голове. Произошло самое неожиданное. Анна Павловна послала нас довольно-таки далеко, но все же с указанием самого точного, недвусмысленного адреса. Бросив свою энергичную, из четырех слов состоящую фразу, она ушла за перегородку, а мы как ошпаренные выскочили из избы.

На другой день в деревенском магазинчике, как мне в подробности рассказали, произошла следующая сцена. Вошла наша соседка и в присутствии семерых человек – восьмая продавщица – громким голосом ни с того ни с сего заговорила:

– Понаедут всякие, а мы – хлебай. Ишь что придумали! Хотят половину дома совсем купить, а потом меня с моей половины выжить да и мою половину к рукам прибрать. Конечно, они городские, все ходы-выходы знают. А что же мне, бедной вдове, по миру идти? Где мне угла искать? Отец еще сколько лет проживет? Неужели нельзя найти управу? Да я завтра же в сельсовет пойду или в милицию. Пускай их первых выселяют. Я тоже не лыком шита. Советская власть не дозволит.

Мы были потрясены фантазией Нюшки. Никогда, даже во сне, не собирались мы делать ничего подобного, даже мысль не мелькала, а она в пять минут набросала готовую программу наших действий. Я сначала только посмеялся. Но тут же представил, как Нюшка заходит в сельсовет, в милицию, еще куда-нибудь и всюду возводит на нас напраслину. Стало не по себе. На другой день у колодца, в окружении трех собеседниц, Нюшка фантазировала еще вдохновеннее:

– Пауков ко мне напускают.

– Неуж?

– У нас в сенях, между досками, щели, я и гляжу – с их половины ко мне паук ползет, за ним второй. Они, значит, их у себя там ловят и ко мне в щелочку пускают. А может, пауки-то ядовитые...

Я представил нас с женой в роли диверсантов, выпускающих пауков на чужую

территорию, и мне сделалось и смешно и грустно одновременно.

Между тем события развивались. Чтобы хоть как-нибудь нейтрализовать действие помойки под окнами, жена посыпала гнилую черную язву дустом: все-таки дезинфекция. Не каждая муха сядет, не каждая улетит. Нюшка, оказывается, наблюдала из окна за санитарно-гигиеническими действиями вражеского стана. Не знаю, на какую фантазию подтолкнуло бы ее увиденное, но совпало так, что у Нюшки в этот день окошел петух. Не думаю, чтобы от дуста. Тогда почему же не окошело все остальные куры? Но в воображении Нюшки факт преломился по-своему, она решила, что ей не только объявлена война, но что война ведется недозволенными химическими средствами. Нужно было ждать ответных действий.

В тихий предвечерний час, когда я только что углубился в интересную для меня книгу, в комнату с рыданием вбежала моя жена. Она бросилась на кровать плашмя и тряслась всем телом. Я побежал на кухню за валерьянкой. Долго она не могла объяснить мне, что случилось, и наконец выпалила:

– Иди и немедленно застрели Рубикона.

Правда, у меня есть ружье, и пристрелить собачонку не так уж трудно, но нужно было сначала разобраться в деле. Оказывается, Нюшка только что, пять минут назад, пришибла палкой нашего Афанасия - прекрасного пушистого котенка.

Перед поездкой в деревню мы зашли на птичий рынок, чтобы побродить там между рядами аквариумов, населенных сказочными тропическими рыбками, сверкающими и переливающимися, как драгоценные камни и еще красивее драгоценных камней. Сам я уже несколько лет не держу аквариума: мешают постоянные отлучки из Москвы, – но полюбоваться чужими – для меня по-прежнему праздник.

Набродившись по рынку, у рыночных выходных ворот мы увидели девочку лет девяти с очаровательным существом на руках. Она прижимала не к груди, а к горлу крохотного, но уже пушистого и смышленного котеночка. Покупать зверька мы не собирались, но интересно было узнать, почем котята на московском базаре.

– Я не продаю, – обрадовалась нашему вопросу девочка. – Я вас прошу, возьмите его так.

– Почему ты хочешь избавиться от котеночка?

– Я подслушала разговор. Бабушка хочет подкинуть его в какой-нибудь подъезд, а мне жалко: вдруг его никто не возьмет и он будет голодать и мяукать? Я хочу отдать его в руки, чтобы видеть, кому отдашь. Я вас очень прошу, возьмите, он хороший, очень хороший. Пожалуйста...

Кто-то, видно, надоумил девочку отправиться с котенком именно на птичий рынок. Удивительно, как это никто не взял у нее котенка до нас. Взглянув на его умиротворенную мордочку, невозможно было уже от него отказаться. Девочка взяла с нас слово, что мы будем кормить котенка ежедневно, не будем его бить и будем иногда играть с ним бумажным бантиком, привязанным к нитке.

И вот этого-то котенка, милого нашего Афанасия, палкой убила злая женщина Нюшка.

Жена рыдала и требовала, чтобы я немедленно застрелил Рубикона. Я и сам почувствовал невыносимую злость. Значит, дело будет выглядеть так: я в ответ на ее злодеяние убиваю Рубикона, она затаптывает в грязь наши простыни, вывешенные сушиться в саду, я беглым огнем истребляю всех ее кур и уток, возможно, поросенка, а она ошпаривает кипятком наших детей... Моя фантазия остановилась на этом месте, но кто знает границы Нюшкиной изобретательности! Конечно, она не сможет совершить главного шага подпалить дом, потому что сама живет под той же крышей...

Вероятно, так и началась история на земле. Обида оплачивается обидой. Всегда хотя бы с маленьким перехлестом. Крупица зла породила горошину зла. Горошина породила орех, орех породил яблоко, яблоко породило арбуз... И вот в конце концов накопился океан зла, в котором может потонуть все человечество. Дело подошло вплотную к поджогу, а еще точнее к сожжению дома. Хорошо еще, что, как и в нашем микроскопическом случае с соседкой Ньюшкой, все живут под одной крышей, и поджечь соседа означает поджечь себя.

Сопоставления самые дерзкие сколько угодно могли тесниться в моем мозгу, но явь состояла в том, что наш Афанасий был убит палкой, что моя жена плакала и что нужно было идти и застрелить Рубикона.

– Ну что же ты сидишь?! – говорила моя жена. – Сегодня она убила котенка, завтра перешибет ноги твоей дочери, а ты все будешь сидеть. Надо набраться мужества и застрелить.

Так как я сидел и пока молчал, жена продолжала:

– И вообще, застрелишь ты Рубикона или нет, давай уедем сегодня же. Я не могу жить с ней под одной крышей. Не могу ни минуты, понимаешь?

Уехать по целому ряду причин мы не могли, поэтому я продолжал молчать.

– Что же ты молчишь? Ты же мужчина, глава семьи. Ты должен искать выход из каждого безвыходного положения. Если ты не можешь отомстить за Афанасия и если мы не можем уехать, научи, как жить дальше, что мне делать, как себя вести, говори!

– Видишь ли, ты меня призываешь к мужеству. Но дело в том, что застрелить собачонку... Можно сказать, что мужества в строгом смысле слова для этого не потребуется. Но у тебя есть возможность, если ты хочешь, совершить поступок истинно мужественный. Иди и соверши.

– Задушить ее своими руками?

– Нет. Возьми пачку дрожжей, которую я привез из Москвы, и отнеси ей. Скажи, что это подарок от нас двоих.

Жена посмотрела на меня испуганно, как на сошедшего с ума. В первую долю секунды взгляд ее показался мне бессмысленным, как у человека, которого ударили по голове. Еще бы, ведь это была та доля секунды, когда разогнавшиеся мысли ее, психика ее, злость ее, жажда возмездия - все это должно было остановиться, как при железном тормозе, а затем начать движение в обратную сторону.

– Ты... Серьезно?

– Очень. Если только ты серьезно спросила меня, как жить дальше, что делать и как себя вести. Я подумал и считаю единственно правильным в создавшемся положении отнести ей пачку дрожжей. Посмотрим, что из этого выйдет.

– Нет уж, тогда лучше застрели меня вместо Рубикона. Пойти на такое унижение... перед этим сгустком злости.

– Сейчас мы и сами сгусток злости. Кроме того, я не вижу другого выхода. Если идти и дальше по пути, на который мы встали, получится следующее: я застрелю Рубикона, она затопчет в грязь наши простыни, я перестреляю ее уток, она перешибет ногу нашей дочери... В конце концов останется одно - подпалить дом. Кто раньше успеет. Но в нашем случае это бессмысленно, потому что мы живем в одном доме, под одной крышей. Уехать мы не можем. Ее прогнать нельзя. Так что я в самом деле не вижу никакого выхода. Но выход есть, и я его предлагаю. Возьми дрожжи и отнеси ей как подарок от нас двоих.

– Да я лучше повешусь на чердаке!

– Возьми дрожжи и отнеси.

– Ни в жизнь.

– Возьми и отнеси.

Мы завернули дрожжи в газету, чтобы не всякому видно было на улице, что в руках. Жена вытерла слезы, вздохнула и пошла.

Я понимал, что она совершает сейчас героический, в некотором смысле даже великий поступок. Потому что подняться на ступеньку труднее, чем спуститься, вылезти из болота на сухое место труднее, чем с сухого места шагнуть в болото, а самое трудное во все времена и для каждого человека переступить через самого себя.

Я не знал, что происходит за стеной. Может быть, Нюшка швырнула дрожжи ей в лицо. Может быть, она еще и плюнула ей вдогонку... Я приготовился просить у жены прощения за столь интересный, но и столь тяжелый эксперимент, как вдруг жена вошла в избу.

Она была возбуждена, будто только что получила известие самое радостное в своей жизни. Глаза ее сияли, а голос, когда она заговорила, прерывался от радостного волнения. У меня самого запершило в горле, и я понял, что мы только что прикоснулись к чему-то очень сокровенному и важному, может быть, самому сокровенному и самому важному в человеческом поведении.

Потом, уже успокоившись, жена рассказала мне, как было дело. Когда она вошла в дом, Нюшка потянулась за ухватом, думая, что последует какая-нибудь месть за котенка. Она могла ожидать чего угодно, только не мирного прихода представителя враждебного лагеря. Но жена развернула и положила на стол пачку дрожжей. У жены хватило мужества и находчивости спокойно и тихо сказать, что сегодня воскресенье и вот мы решили... потому что у нас есть еще, а эти все равно пропадут, потому что жарко и хранить дрожжи долго нельзя.

Нюшка будто бы заплакала и бросилась обнимать. Тогда и жена заплакала, и они обе плакали на плече друг у дружки. Что-то одновременно говорили. Но что именно, передать в подробности жена не могла, потому что она сама больше говорила, чем слушала.

Не успели мы успокоиться от такого события, вернее, от такого поворота событий, как Нюшка появилась на нашем пороге. В руках она держала большое решето, полное отборного репчатого лука.

Значит, мелькнуло у меня, пружина пошла раскручиваться в другую сторону, и тоже, как ни странно, по нарастающей: мы ей – пачку дрожжей, она нам – решето лука; мы ей в другой раз – дорогой торт, она нам ошипанную утку; мы ей – отрез на платье, она нам – целого поросенка; мы ей – кровельное железо, она предложит разобрать перегородки в доме... Фантазия моя и тут убежала слишком далеко.

Мне не хотелось бы рассказывать, сколько еще потом было у нас до осени неприятностей с нашей соседкой и какие слова говорил про нее дядя Павел, приходивший к нам отвести душу. Все это потом было и, вероятно, было бы снова, если бы мы решили еще раз навестить ту деревню.

Но все же я никогда не забуду сияющих глаз моей жены, возвратившейся от Нюшки, и саму Нюшку, робко стоящую на нашем пороге с большим решетом отборного репчатого лука.

1966

**Владимир Крупин**

## Молитва матери

### МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ

«**Материнская молитва со дна моря достанет**» — эту пословицу, конечно, знают все. Но многие ли верят, что пословица эта сказана не для красного словца, а совершенно истинно, и за многие века подтверждена бесчисленными примерами?

Отец Павел, монах, рассказал мне случай, происшедший с ним недавно. Он рассказал его, как будто все так и должно было быть. Меня же этот случай поразил, и я его перескажу, думаю, что он удивителен не только для меня.

На улице к отцу Павлу подошла женщина и попросила его сходить к ее сыну. Исповедать. Назвала адрес.

- А я очень торопился, - сказал отец Павел, - и в тот день не успел. Да, признаться, и адрес забыл. А еще через день рано утром она мне снова встретилась, очень взволнованная, и настоятельно просила, прямо умоляла пойти к сыну. Почему-то я даже не спросил, почему она со мной не шла.

Я поднялся по лестнице, позвонил. Открыл мужчина. Очень неопрятный, молодой, видно сразу, что сильно пьющий. Смотрел на меня дерзко: я был в облачении. Я поздоровался, говорю: ваша мама просила меня к вам зайти. Он вскинулся: «Ладно врать, у меня мать пять лет как умерла». А на стене ее фотография среди других. Я показываю на фото, говорю: «Вот именно эта женщина просила вас навестить». Он с таким вызовом: «Значит, вы с того света за мной пришли?» — «Нет, — говорю, — пока с этого. А вот то, что я тебе скажу, ты выполни: завтра с утра приходи в храм». — «А если не приду?» - «Придешь: мать просит. Это грех – родительские слова не исполнять».

И он пришел. И на исповеди его прямо трясло от рыданий, говорил, что он мать выгнал из дому. Она жила по чужим людям и вскоре умерла. Он даже и узнал-то потом, даже не хоронил.

- А вечером я в последний раз встретил его мать. Она была очень радостная. Платок на ней был белый, а до этого темный. Очень благодарила и сказала, что сын ее прощен, так как раскаялся и исповедался, и что она уже с ним виделась.

Тут я уже сам, с утра, пошел по его адресу. Соседи сказали, что вчера он умер, увезли в морг.

Вот такой рассказ отца Павла. Я же, грешный, думаю: значит, матери было дано видеть своего сына с того места, где она была после своей земной кончины, значит, ей было дано знать время смерти сына. Значит, и там ее молитвы были так горячи, что ей было дано воплотиться и попросить священника исповедать и причастить несчастного раба Божия.

Ведь это же так страшно – умереть без покаяния, без причастия. И главное: значит, она любила его, любила своего сына, даже такого, пьяного, изгнавшего родную мать. Значит, она не сердилась, жалела и, уже зная больше всех нас об участи грешников, сделала все, чтобы участь эта миновала сына. **Она достала его со дна греховного. Именно она, и только она силой своей любви и молитвы.**

Шукшин Василий

## Космос, нервная система и шмат сала

Философские проблемы:

1. Выбора,
2. Чем жив человек
3. «космическое» и «земное»
4. человек должен иметь высокую цель в жизни, свой «космос», верить в него, иначе его жизнь будет неполной, лишенной красоты, но у него должно быть и то материальное (шмат сала в данном случае), без которого трудно прожить

Старик Наум Евстигнейч хворал с похмелья. Лежал на печке, стонал. Раз в месяц - с пенсии - Евстигнейч аккуратно напивался и после этого три дня лежал в лежку. Матерился в бога.

- Как черти копытьями толкут, в господу мать. Кончаюсь...

За столом, обложенным учебниками, сидел восьмиклассник Юрка, квартирант Евстигнейча, учил уроки.

- Кончаюсь, Юрка, в крестителя, в бога душу мать!..

- Не надо было напиваться.

- Молодой ишо рассуждать про это.

Пауза. Юрка поскрипывает пером.

Старику охота поговорить - все малость полегче.

- А чо же мне делать, если не напиться? Должен я хоть раз в месяц отметиться...

- Зачем?

- Што я не человек, што ли?

- Хм... Рассуждения, как при крепостном праве.- Юрка откинулся на спинку венского стула, насмешливо посмотрел на хозяина.- Это тогда считалось, что человек должен обязательно пить.

- А ты откуда знаешь про крепостное время-то? - Старик смотрит сверху страдальчески и с любопытством. Юрка иногда удивляет его своими познаниями, и он хоть и не сдается, но слушать парнишку любит,- Откуда ты знаешь-то? Тебе всего-то от горшка два вершка.

- Проходили,

- Учителя, што ли, рассказывали?

- Но.

- А они откуда знают? Там у вас ни одного старика нету.

- В книгах.

- В книгах... А они случайно не знают, отчего человек с похмелья хворает?

- Травление организма: сивушное масло.

- Где масло? В водке?

- Но.

Евстигнейчу хоть тошно, но он невольно усмехается:

- Доучились.

- Хочешь, я тебе формулу покажу? Сейчас я тебе наглядно докажу...Юрка взял было учебник химии, но старик застонал, обхватил руками голову.

- О-о... опять накатило! Все, конец...

- Ну, похмелись тогда, чего так мучиться-то?

Старик никак не реагирует на это предложение. Он бы похмелился, но жалко денег, Он вообще скряга отменный. Живет справно, пенсия неплохая, сыновья и дочь помогают из города. В погребе у него чего только нет - сало еще прошлогоднее, соленые огурцы, капуста, арбузы, грузди... Кадки, кадушки, туески, бочонки - целый склад, В кладовке полтора куля доброй муки, окорок висит пуда на полтора. В огороде яма картошки, тоже еще прошлогодней, он скармливает ее боровам, уткам и курицам. Когда он не хворает, он встает до света и весь день, до темноты, возится по хозяйству. Часто спускается в погреб,



сядет на приступку и подолгу задумчиво сидит. "Черти драные. Тут ли счас не жить" - думает он и вылезает на свет белый. Это он о сыновьях и дочери. Он ненавидит их за то, что они уехали в город.

У Юрки другое положение. Живет он в соседней деревне, где нет десятилетки. Отца нет. А у матери кроме него еще трое. Отец утонул на лесосплаве. Те трое ребяташек моложе Юрки. Мать бьется из последних сил, хочет, чтоб Юрка окончил десятилетку. Юрка тоже хочет окончить десятилетку. Больше того, он мечтает потом поступить в институт. В медицинский.

Старик вроде не замечает Юркиной бедности, берет с него пять рублей в месяц. А варят - старик себе отдельно, Юрка себе. Иногда, к концу месяца, у Юрки кончаются продукты. Старик долго косится на Юрку, когда тот всухомятку ест хлеб. Потом спрашивает:

- Все вышло?
- Ага.
- Я дам... апосля привезешь.
- Давай.

Старик отвечает на безмене килограмм-два пшена, и Юрка варит себе кашу. По утрам беседуют у печки.

- Все же охота доучиться?
- Охота. Хирургом буду.
- Сколько ишо?
- Восемь. Потому что в медицинском - шесть, а не пять, как в остальных.
- Ноги вытянешь, пока дойдешь до хирурга-то. Откуда она, мать, денег-то возьмет сэстоль?

- На стипендию. Учатся ребята... У нас из деревни двое так учатся.

Старик молчит, глядя на огонь. Видно, вспомнил своих детей.

- Чо эт вас так шибко в город-то тянет?
- Учиться... "Что тянет". А хирургом можно потом и в деревне работать. Мне даже больше глянется в деревне.

- Што, они много шибко получают, што ль?
- Кто? Хирурги?
- Но.

- Наоборот, им мало плотят. Меньше всех. Сейчас прибавили, правда, но все равно...

- Дак на кой же шут тогда жилы из себя тянуть столько лет? Иди на шофера выучись да работай. Они вон по скольку зашибают! Да ишо приворовывают: где лешишко кому подкинет, где сена привезет совхозного - деньги. И матери бы помог. У ей вить ишо трое на руках.

Юрка молчит некоторое время. Упоминание о матери и младших братьях больно отзывается в сердце. Конечно, трудно матери... Накипает раздражение против старика.

- Проживем,- резко говорит он.- Никому до этого не касается,
- Знамо дело,- соглашается старик.- Сбили вас с толку этим ученьем - вот и мотаетесь по белому свету, как...- Он не подберет подходящего слова - как кто.- Жили раньше без всякого ученья - ничего, бог миловал: без хлебушка не сидели.
- У вас только одно на уме: раньше!
- А то... ирапланов понаделали-дерьма-то.
- А тебе больше глянется на телеге?
- А чем плохо на телеге? Я если поехал, так знаю: худо-бедно доеду. А ты навернесся с этого своо ираплана - костей не соберут.

И так подолгу они беседуют каждое утро, пока Юрка не уйдет в школу. Старику необходимо выговориться - он потом целый день молчит; Юрка же, хоть и раздражает его занудливое ворчание старика, испытывает удовлетворение оттого, что вступает за Новое

- за аэропланы, учение, город, книги, кино...

Странно, но старик в бога тоже не верит.

- Делать нечего - и начинают заполошничать, кликуши,- говорит он про верующих.- Робить надо, вот и благодать настанет.

Но работать - это значит только для себя, на своей пашне, на своем огороде. Как раньше. В колхозе он давно не работает, хотя старики в его годы еще колупаются помаленьку - кто на пасеке, кто объездным на полях, кто в сторожах.

- У тебя какой-то кулацкий уклон, дед,- сказал однажды Юрка в сердцах. Старик долго молчал на это. Потом сказал непонятно:

- Ставай, пролятый заклеменный!.. - И высморкался смачно сперва из одной ноздри, потом из другой. Вытер нос подолом рубахи и заключил: Ты ба, наверно, комиссаром у их был. Тогда молодые были комиссарами.

Юрке это польстило.

- Не пролятый, а - проклятьем,- поправил он.

- Насчет уклона-то... смотри не вякни где. А то придут, огород урежут. У меня там сотки четыре лишка есть.

- Нужно мне.

Частенько возвращались к теме о боге,

- Чего у вас говорят про его?

- Про кого?

- Про бога-то,

- Да ничего не говорят - нету его.

- А почему тогда столько людей молятся?

- А почему ты то и дело поминаешь его? Ты же не веришь.

- Сравнил! Я - матерюсь.

- Все равно - в бога.

Старик в затруднении.

- Я, што ли, один так лаюсь? Раз его все споминают, стало быть, и мне можно.

- Глупо. А в таком возрасте вообще стыдно.

- Отлегло малость, в креста мать,- говорит старик.- Прямо в голове все помутнело.

Юрка не хочет больше разговаривать - надо выучить уроки.

- Про кого счас проходишь?

- Астрономию,- коротко и сухо вато отвечает Юрка, давая тем самым понять, что разговаривать не намерен.

- Это про што?

- Космос. Куда наши космонавты летают.

- Гагарин-то?

- Не один Гагарин... Много уж.

- А чего они туда летают? Зачем?

- Привет! - воскликнул Юрка и опять откинулся на спинку стула. Ну, ты даешь. А что они, будут лучше на печке лежать?

- Што ты привязался с этой печкой? - обиделся старик.- Доживи до моих годов, тогда вякай.

- Я же не в обиду тебе говорю. Но спрашивать: зачем люди в космос летают? - это я тебе скажу...

- Ну и растолкуй. Для чего же тебя учат? Штоб ты на стариков злился?

- Ну во-первых: освоение космоса-это... надо. Придет время, люди сядут на Луну. А еще придет время - долетят до Венеры. А на Венере, может, тоже люди живут. Разве не интересно доглядеть на них?..

- Они такие же, как мы?

- Этого я точно не знаю. Может, маленько пострашней, потому что там атмосфера не

такая - больше давит.

- Ишо драться кинутся,

- За что?

- Ну, скажут: зачем прилетели? - Старик заинтересован рассказом. Непрошенный гость хуже татарина.

- Не кинутся. Они тоже обрадуются. Еще неизвестно, кто из нас умнее - может, они. Тогда мы у них будем учиться. А потом, когда техника разовьется, дальше полетим...- Юрку самого захватила такая перспектива человечества. Он встал и начал ходить по избе.- Мы же еще не знаем, сколько таких планет, похожих на Землю! А их, может, миллионы! И везде живут существа. И мы будем летать друг к другу... И получится такое... мировое человечество. Все будем одинаковые.

- Жениться, што ли, друг на дружке будете?

- Я говорю - в смысле образования! Может, где-нибудь есть такие человекоподобные, что мы все у них поучимся. Может, у них все уже давно открыто, а мы только первые шаги делаем. Вот и получится тогда то самое царство божие, которое религия называет - рай. Или ты, допустим, захотел своих сыновей повидать прямо с печки - пожалуйста, включил видеоприемник, настроился на определенную волну - они здесь, разговаривай. Захотелось слетать к дочери, внука понячить - лезешь на крышу, заводишь небольшой вертолет - и через какое-то время икс ты у дочери... А внук... ему сколько?

- Восьмой, однако,

- Внук тебе почитает "Войну и мир", потому что развитие будет ускоренное. А медицина будет такая, что люди будут до ста - ста двадцати лет жить.

- Ну, это уж ты... приврал.

- Почему?! Уже сейчас эта проблема решается. Сто двадцать лет-это нормальный срок считается. Мы только не располагаем данными. Но мы возьмем их у соседей по Галактике.

- А сами-то не можете - чтоб на сто двадцать?

- Сами пока не можем. Это медленный процесс. Может, и докатимся когда-нибудь, что будем сто двадцать лет жить, но это еще не скоро. Быстрее будет построить такой космический корабль, который долетит до Галактики. И возможно, там этот процесс уже решен: открыто какое-нибудь лекарство...

- Сто двадцать лет сам не захочешь. Надоест.

- Ты не захочешь, а другие - с радостью. Будет такое средство...

- "Средство"... Открыли бы с похмелья какое-нибудь средство - и то ладно. А то башка, как этот... как бачок из-под самогона,

- Не надо пить.

- Пошел ты!..

Замолчали.

Юрка сел за учебники.

- У вас только одно на языке: "будет! будет!.." - опять начал старик,- Трепачи. Ты вот - шешнадцать лет будешь учиться, а начнет человек помирать, чего ты ему сделаешь?

- Вырежу чего-нибудь.

- Дак если ему срок подошел помирать, чего ты ему вырежешь?

- Я на такие... дремучие вопросы не отвечаю.

- Нечего отвечать, вот и не отвечаете.

- Нечего?.. А вот эти люди!..- сгреб кучу книг и показал,- Вот этим людям тоже нечего отвечать?! Ты хоть одну прочитал?

- Там читать нечего - вранье одно.

- Ладно! - Юрка вскочил и опять начал ходить по избе.- Чума раньше была?

- Холера?

- Ну, холера.

- Была. У нас в двадцать...

- Где она сейчас? Есть?

- Не приведи господи! Может, будет ишо...

- В том-то и дело, что не будет. С ней научились бороться. Дальше: если бы тебя раньше бешеная собака укусила, что бы с тобой было?

- Сбесился бы.

- И помер. А сейчас - сорок уколов, и вер. Человек живет. Туберкулез был неизлечим? Сейчас, пожалуйста: полгода - и человек как огурчик! А кто это все придумал? Ученые! "Вранье"... Хоть бы уж помалкивали, если не понимаете.

Старика раззадорил тоже этот Юркин наскок.

- Так. Допустим. Собака - это ладно, А вот змея укусит?.. Иде они были, доктора-то, раньше? Не было. А бабка, бывало, пошепчет - и как рукой сымет. А вить она институтов никаких не кончала.

- Укус был не смертельный. Вот и все.

- Иди подставь: пусть она разок чикнет куда-нибудь... .

- Пожалуйста! Я до этого укол сделаю, и пусть кусает сколько влезет - я только улыбнусть.

- Хвастунишка.

- Да вот же они, во-от! - Юрка опять показал книги.- Люди на себе проверяли! А знаешь ты, что когда академик Павлов помирал, то он созвал студентов и стал им диктовать, как он помирает,

- Как это?

- Так. "Вот,- говорит,- сейчас у меня холодеют ноги записывайте". Они записывали. Потом руки отнялись. Он говорит: "Руки отнялись".

- Они пишут?

- Пишут, Потом сердце стало останавливаться, он говорит: "Пишите". Они плакали и писали,- У Юрки у самого защипало глаза от слез. На старика рассказ тоже произвел сильное действие.

- Ну?..

- И помер. И до последней минуты все рассказывал, потому что это надо было для науки. А вы с этими вашими бабками еще бы тыщу лет в темноте жили... "Раньше было! Раньше было!.." Вот так было раньше?! Юрка подошел к розетке, включил радио. Пела певица.- Где она? Ее же нет здесь!

- Кого?

- Этой... кто поет-то.

- Дак это по проводам...

- Это - радиоволны! "По проводам". По проводам - это у нас здесь, в деревне, только. А она, может, где-нибудь на Сахалине поет - что, туда провода протянуты?

- Провода. Я в прошлом годе ездил к Ваньке, видал: вдоль железной дороги провода висят.

Юрка махнул рукой:

- Тебе не втолковать. Мне надо уроки учить. Все.

- Ну и учи.

- А ты меня отрываешь.- Юрка сел за стол, зажал ладонями уши и стал читать. Долго в избе было тихо.

- Он есть на карточке? - спросил старик.

- Кто?

- Тот ученый, помирал-то который.

- Академик Павлов? Вот он,

Юрка подал старику книгу и показал Павлова. Старик долго и серьезно разглядывал изображение ученого.

- Старенький уж был.

- Он был до старости лет бодрый и не напивался, как... некоторые. Юрка отнял книгу. - И не валялся потом на печке, не матерился. Он в городки играл до самого последнего момента, пока не свалился. А сколько он собак прирезал, чтобы рефлексы доказать!.. Нервная система - это же его учение. Почему ты сейчас хвораешь?

- С похмелья, я без Павлова знаю.

- С похмелья-то с похмелья, но ты же вчера оглушил свою нервную систему, затормозил, а сегодня она... распрямляется. А у тебя уж условный рефлекс выработался: как пенсия, так обязательно пол-литра. Ты уже не можешь без этого,- Юрка ощутил вдруг некое приятное чувство, что он может спокойно и убедительно доказывать старику весь вред и все последствия его выпивок. Старик слушал.- Значит, что требуется? Перебороть этот рефлекс. Получил пенсию на почте. Пошел домой... И ноги у тебя сами поворачивают в сельмаг. А ты возьми пройди мимо. Или совсем другим переулком пройди.

- Я хуже маяться буду.

- Раз помаешься, два, три - потом привыкнешь. Будешь спокойно идти мимо сельмага и посмеиваться.

Старик привстал, свернул трясущимися пальцами сигарку, прикурил. Затянулся и закашлялся.

- Ох, мать твою... Кххх!.. Аж выворачивает всего. Это ж надо так!

Юрка сел опять за учебники.

Старик кряхтя слез с печки, надел пимы, полушубок, взял нож и вышел в сенцы. "Куда это он?"- подумал Юрка.

Старика долго не было. Юрка хотел уж было идти посмотреть, куда он пошел с ножом. Но тот пришел сам, нес в руках шмат сала в ладонь величиной.

- Хлеб-то есть? - спросил строго.

- Есть. А что?

- На, поешь с салом, а то загнешся загодя со своими академиками... пока их изучишь всех.

Юрка даже растерялся.

- Мне же нечем отдавать будет - у нас нету...

- Ешь. Там чайник в печке - ишо горячий, наверно... Поешь.

Юрка достал чайник из печки, налил в кружку теплого еще чая, нарезал хлеба, ветчины и стал есть. Старик с трудом залез опять на печь и смотрел оттуда на Юрку.

- Как сало-то?

- Вери вел! Первый сорт.

- Кормить ее надо уметь, свинью-то. Одни сдуру начинают ее напичкивать осенью - получается одно сало, мяса совсем нет. Другие наоборот - маринуют: дескать, мясистее будет. Одно сало-то не все любят. Заколют: ни мяса, ни сала. А ее надо так: недельку покормить как следует, потом подержать впроголодь, опять недельку покормить, опять помариновать... Вот оно тогда будет слоями: слой сала, слой мяса. Солить тоже надо уметь...

Юрка слушал и с удовольствием уписывал мерзлое душистое сало, действительно на редкость вкусное.

- Ох, здорово! Спасибо.

- Наелся?

- Ага.- Юрка убрал со стола хлеб, чайник. Сало еще осталось.- А это куда?

- Вынеси в сени, на кадушку. Вечером ишо поешь.

Юрка вынес сало в сенцы. Вернулся, похлопал себя по животу, сказал весело:

- Теперь голова лучше будет соображать... А то... это... сидишь маленько кружится.

- Ну вот,- сказал довольный дед, укладываясь опять на спину.- Ох, мать твою в душеньку!.. Как ляжешь, так опять подступает.

- Может, я пойду куплю четвертинку! - предложил Юрка.

Дед помолчал.

- Ладно... пройдет так. Потом, попозже, курям посыплешь да коровенке на ночь пару навильников дашь. Воротчики только закрыть не забудь!

- Ладно. Значит, так: что у нас еще осталось? География. Сейчас мы ее... галопом.- Юрке сделалось весело: поел хорошо, уроки почти готовы - вечером можно на лыжах покататься.

- А у его чего же родных-то никого, што ли, не было? - спросил вдруг старик.

- У кого? - не понял Юрка.

- У того академика-то. Одни студенты стояли?

- У Павлова-то? Были, наверно. Я точно не знаю. Завтра спрошу в школе.

- Дети-то были, поди?

- Наверно. Завтра узнаю.

- Были, конечно. Никого если бы не было родных-то, не много надиктуешь. Одному-то плохо,

Юрка не стал возражать. Можно было сказать: а студенты-то! Но он не стал говорить.

- Конечно,- согласился он.- Одному плохо.

### **Ирина Курамшина "Синдром Терезы"**

#### *ЧЕМ ЛЮДИ ЖИВЫ?*

- Опять куда-то намылились?

Мать с укором смотрела на Катьку и ее закадычную подружку Марусю, наводящих с высунутыми языками марафет. Мать регулярно задавала этот вопрос, всегда зная на него ответ. Это традиция. Мать задает вопрос, Катька беззлобно ругается.

- Куда, куда. Опять туда. Вечно ты со своими глупыми вопросами. Пятница -святое. Наш день в нашем любимом клубе. Отстань, дай нам собраться.

- Ну и валите, - обиделась опять-таки по традиции прогрессивная Катькина мать. Мать вечно лезла в Катькину жизнь.

- Ведь понимает все, действительно современная, без комплексов мамаша, принимающая должным образом все мои заморочки и выкрутасы. Но чего лезет? Все знать ей надо: куда, зачем, с кем? Еще бы спросила КАК? - жаловалась Катька Марусе, примеряющей перед зеркалом уже пятую блузку.

- Она - мать! - со значением произнесла подруга, - не обращай внимания, а будешь огрызаться с ней, выходное пособие выдаст мизерное. «Наших» в клубе сегодня может не быть. Они вроде как на природу отчалили удить. Угощать некому. На что гулять будем? У меня не густо. Иди-ка ты лучше «наведи мосты» с родительницей. Не помешает.

- Да уж... Если опять придется выступать в роли сестёр милосердия, поддержка мамани не помешает. Это точно. Особенно после последнего случая. - Захихикала Катька.

Девчонки, страдающие «синдромом матери Терезы» или, как говорит родительница, просто «синдром Терезы», не раз устраивали Катькиным родителям сюрпризы: то в виде подобранного на улице котёнка или пёсика, которых потом сердобольная мать выхаживала и пристраивала в хорошие руки; то в виде очередного знакомого, попавшего в безвыходную ситуацию. Ситуации у этих самых знакомых всегда были на редкость тяжёлые. Одним срочно требовалась крыша над головой на пару ночей, вторые оголодали, и их надо было накормить, третьи нуждались в деньгах, совсем ненадолго, всего-то на пару месяцев. Как правило, долги либо совсем не отдавались, либо ждать возврата можно было до скончания века. И вереница тех, кому нужно было помогать, никак не заканчивалась.

Дней десять назад, когда произошёл последний из случаев с «синдромом Терезы», Катькина мать визжала и категорически запретила девчонкам впредь приводить в дом кого или чего либо.

А делов-то! Маленькая и очень миленькая крыска. А вернее крыс. Ну, это выяснилось уже потом. А сначала девчонки ехали в метро. На одной из остановок в вагон что-то шмыгнуло, ураганом пронеслось по всему вагону и приземлилось в углу на боковом сидении. И сразу же одна из пассажирок подняла настоящий вой, из которого можно было разобрать только одно слово «Крыса!!!».

Наши «матери Терезы» не растерялись, без раздумий бросившись на помощь беззащитному существу, дрожащему от страха. Конечно, крыс был спасён от ненормальной пассажирки, конечно, девчонки не могли его бросить на произвол судьбы, конечно, его путь лежал в известную квартиру. Катька посадила грызуна за пазуху, где крыс, которого сразу же нарекли Вованом, успокоился, пригрелся и заснул, проспав до самого дома.

Впервые мать орала и не пускала Катьку с Маруськой домой. Нет, она вовсе не боялась, как большинство женщин, этого маленького существа, она переживала по другой причине.

- В доме два кота, - верещала мамаша, - вы дУмали, когда пригрели это серое хвостатое уродство? Вы хотите, чтобы у меня в доме произошло убийство? Вы хотите, чтобы наши коты почувствовали запах крови? Потом придется постоянно мышей да крыс домой таскать, удовлетворяя кошачьи аппетиты. И вообще, мои животные с прививками, а этот имеет их, вы знаете? - Мать брезгливо ткнула пальцем в Вована, отчего тот вздрогнул, весь как-то сжался и, опять задрожав, прижался к Катькиной груди.

- Ой, крыся, извини, - испугавшись, сменила мать тон и склонилась над Воваяом, - а он плачет! Боже мой! У него слезки текут, он всё понял. Вы только посмотрите, настоящие слёзки. Не обижайся маленький, прости тётку злую, куда мы тебя не выгоним. Ладно, оставляйте, но пристраивать будете сами. - Это уже относилось к девчонкам.

Вован завис у «Терез» на неделю. Крыс не котик и уж тем более не щенок, пристроить его удалось не сразу. Всю неделю у двери в ванную, куда определили на временное проживание Вована, дежурили коты, которые правдами и неправдами пытались проникнуть на запретную территорию, чуя запах дичи. Вован оказался совершенно ручным, очень умным и миролюбивым. И, если бы не коты, крыс вполне мог стать членом Катькиной семьи. К счастью Маруська вспомнила про знакомую девчонку, которая помешана на грызунах, вот ей-то и отвезли Вована.

С момента определения крыса на новое место жительства прошло всего три дня.

- Больше не могу дать, хватит с тебя и этого, - протянула деньги мать, то самое пособие, - и что б никого! Вы меня слышите? Никого! Поклянитесь.

- Клянемся! - по-пионерски бодро отрапортовали Катька с Маруськой, держа за спиной фиги.

Ночью мать проснулась от непонятных звуков и шорохов. Впечатление было такое, словно что-то постоянно падает. Включив свет, она машинально бросила взгляд на будильник, зафиксировала в памяти время 2.15 ночи, одевшись, вышла в коридор и застала картину, к которой в принципе была готова.

Дочь с подругой пытались поднять с пола судя по всему молодого человека. Мать собралась было открыть рот для рвущихся наружу проклятий, но Катька предупредительно сделала умоляющие глаза. Тут еще молодой человек застонал. И мать в очередной раз сдалась, и даже приняла деятельное участие в транспортировке очередной жертвы обстоятельств до ванной комнаты.

Жертвой обстоятельств оказался симпатичный молодой человек по имени Стасик, а его обстоятельствами - зловредная подруга, отказавшаяся впустить его домой, и сильное подпитие из-за в очередной раз рухнувших планов на будущее. Стасика девчонки встретили в клубе, куда он пришел «залить» своё горе спиртным. Будучи известным актером, снявшись в нескольких «мыльных операх», Стасик не смог справиться с ситуацией, когда съемки закончились, а новых предложений не поступило. А в театре Стас играл лишь в одном спектакле, два, три раза в месяц. Уход в запой - дело,

распространенное в актерской среде. Вот и Стасик не смог удержаться. А тут еще на его беду подружка отказала в крове, сам же он, как говорят, не мееестный, из другого города, постоянного жилья в столице не имеет.

Еще счастье, что Стасик встретил в клубе наших «Терез», а ни каких-нибудь преступниц, которые запросто обворовали бы его за милую душу, в таком-то состоянии. А с Катькой и Маруськой Стасик был знаком уже давно. Катька одно время работала с ним в одном коллективе, занималась административными делами. С тех пор Стасик и девчонки дружили.

- Но не да такой же степени! - возмущалась мать, когда Стасик был помыт, накормлен и уложен спать, - Дружба дружбой, а вот тащить в дом запойного неприлично. Отвезли бы его к его подружке, пусть сама с ним разбирается, раз у них близкие отношения. А если у Стасика кризис начнется? Что мы сделать сможем? Ты его белье засунула в стиральную машину? - перескочила мать на другую тему. Обычное явление: сначала ругает, потом начинает окружать заботой эти самые жертвы. В доме даже есть шутка: «Хочешь покушать супчик, притащи в дом несчастного, мать в этом случае супчик сварит обязательно».

- Да засунула, засунула. Пап, - обратилась Катька к отмалчивающемуся в таких ситуациях отцу, - А ты дай что-нибудь из своей одежды. А?

А куда папе деться? И Стасику были выделены штаны с рубашкой.

Катька донести их до комнаты, в которой уложили Стасика, не успела, Стасик собственной персоной в чем мать родила предстал перед изумленной публикой и, ничуть не смущаясь, лишь глупо улыбаясь, заплетающимся голосом сообщил о том, что ему надо кое-куда пройти. С трудом, ни с первой попытки, удалось запихнуть Стасика по назначению - в туалет. Кто хоть раз имел дело с пьяными, знает, какими упрямыми они становятся, а их тело наливаются будто свинцом, да так, что сдвинуть порой невозможно. Потом дружно втроем двигали Стасика в ванную, затем до постели. Часам к четырем утра в квартире установилась относительная тишина, нарушаемая лишь раскатами Стасикова храпа.

Утром, не выспавшаяся, и оттого злая и раздраженная мать, едва выйдя из спальни в коридор, наткнулась на незнакомого бородатого мужчину в костюме и при галстуке. «Еще одного притащили!» - мелькнуло в воспаленном от недосыпа мозгу, - «хорошо, хоть халат успела накинуть. Наш «синдром» разрастается в геометрической прогрессии». Но мужчина сам представился. Врач скорой помощи «Наркомед». Как оказалось, Стасику под утро стало совсем плохо, и девчонки вынуждены были вызвать службу спасения зависимых. Врач поставил Стасику капельницу, сделал кучу других необходимых в таких случаях процедур и остался подежурить еще пару часов, поддавшись на уговоры девчонок. А может, и проникся известностью Стасика, который своими ролями в сериалах стал почти родственником каждому россиянину. Факт тот, что к приходу матери вечером с работы, Стасик был вполне вменяем, ухожен двумя сёстрами милосердия до состояния нормальности, а также милосердно оставлен матерью еще на два дня. Уж больно хорошо он травил всякие байки и анекдоты из жизни богемы. Вот только долго не мог понять почему в такой маленькой квартире такая большая проходимость. Этому способствовало несколько эпизодов, над одним из которых Катькина семейка смеялась очень долго.

В первый день после капельницы, будучи еще не совсем здоровым, туго соображающим, Стасик вышел на кухню покурить. А там сидела мать знакомая и пила чай, дожидаясь саму мать с работы.

- Станислав, - мягко и вкрадчиво представился Стасик, артистично щелкнув пятками и приложившись к ручке обомлевшей женщины.

- Антонина, - промямлила подруга матери, чуть не подавившись чаем, так как, конечно же, узнала кумира многих женщин. Поставила кружку да так и просидела молча до тех пор, пока Стасик не выкурил свою сигарету и не ушел. Он тоже не проронил ни слова только пялился на Антонину со странным выражением лица.

С таким и вернулся в комнату.



- Катя, - недоумение так четко отражалось на лице Стасика, что Катя в первую минуту испугалась, - кто та женщина на кухне?

- А, - с облегчением махнула рукой Катя, - материна подружка.

- И она тоже у вас живет? - Стасик выдал удивительное заключение, ну, просто шедевр, который собственно и стал в дальнейшем одной из любимых фраз в семье.

Сегодня опять пятница. Что ожидает Катю с Маруськой? Какие приключения выпадут на их долю? Одно точно, Катякина мать во всеоружии: пополнила аптечку и запаслась продуктами, и еще с вечера решила сварганить супчик. А вдруг?